

## ПРЕДЫСТОРИЯ И КОНТЕКСТ

DOI: 10.31168/4465-3095-3.01

Ханс Гюнтер  
(Билефельд)

### Экономить или тратить?

#### Западный и восточный экономические дискурсы в русской художественной литературе XIX в.

##### 1. Дух капитализма и русская культура. Предварительные соображения

В центре внимания этой статьи стоит экономика, но, вероятно, стоит начать с религии. Макс Вебер указывает на фундаментальную противоположность между «активным аскетизмом, т. е. угодной Богу *деятельностью* в качестве орудия Божия, и созерцательным *обладанием* спасением, свойственным мистике, где речь идет не о том, чтобы действовать, а о том, чтобы *иметь*, и где человек является не орудием, а *сосудом* божественной воли» [Вебер 2006: 243]. Позиция мирского аскетизма профессионального этоса характерна для протестантизма, созерцательная позиция ухода от мира – для восточной церкви. В знаменитой статье «Протестантская этика и дух капитализма» Вебером выдвигается тезис, что реформация и ее последствия внесли решающий вклад в формирование капиталистической культуры. Согласно Веберу, учение кальвинизма о предопределении (predestination) блаженства, т. е. об избранности определенного числа людей к спасению, требует от верующего строгого мирского аскетизма в форме неутомимой профессиональной деятельности. Считается, что только таким образом человек может удостоиться милости Божией. Постоянная аскетическая деятельность включает в себя методическое регламен-

тирование, т. е. постоянный самоконтроль и систематическую рационализацию всего жизненного уклада. Поскольку пуританское мироощущение в наибольшей степени способствовало установлению рационального (с экономической точки зрения) поведения, можно сказать, что «пуританизм стоял у колыбели современного “экономического человека”» [там же: 122]. Отвергая непосредственное наслаждение богатством, пуританская аскеза «освобождала приобретательство от психологического гнета традиционалистской этики» [там же: 121]. Вся культура модерна построена на этом рациональном профессиональном этосе – однако без религиозного обоснования.

В православной традиции мистическое начало играет по сравнению с Западом более существенную роль. Несмотря на то, что Макс Вебер не успел более подробно высказаться о восточном христианстве, он противопоставлял мистическую культуру чувства аскетической культуре действия [см. Schluchter 1988: 82], а конTEMPLативное смирение с миром – протестантской этике овладения миром [см. Buss 1989: 37–44]. Учение восточной церкви не способствовало выработке этоса идеализированного профессионального труда<sup>1</sup>, и отсутствие категории предопределения нельзя назвать благодатной почвой для оправдания стремления к аскетической бережливости и накоплению капитала.

Кроме того, в развитии экономической мысли в России можно констатировать наличие двух существенных факторов – подчеркнутый холизм и антропоцентрическую ориентацию [см. Zweynert 1905: 40]. Антропоцентризм отчетливо проявляется в критике представления об экономическом человеке, осуществленной Сергием Булгаковым. В статье, посвященной работам Макса Вебера о происхождении капиталистического духа, он упрекает политическую экономию в упрощенном представлении о человеке и видит в экономических категориях лишь

<sup>1</sup> На материале древнерусских источников Ю. Мурашов [Murašov 2004: 295–328] обращает внимание на антиэкономизм, который возникает на фоне конфликта между экономическим рационализмом и религиозной нравственностью.

«маски, закрывающие живое лицо» [см. Булгаков 1993: 344]. Подобным же образом в «Философии хозяйства», в которой рассматриваются экономические вопросы в свете учения о Софии, он критикует западную науку за то, что в ней вместо личности выступает «экономический автомат» [там же: 270]<sup>2</sup>. В эмфатическом вознесении понятия «живого» над механическим «мертвым» проявляется одна из характерных констант русской мысли. В соответствии с этим трудовое восстановление мира в хозяйственной деятельности обозначается С. Булгаковым как «воскрешение» жизни [там же: 170].

Этот же аспект связан с другой константой – категорией целостности, которая в качестве положительной ценности противопоставляется «раздроблению» западного духа и западного общества. Запад характеризуется как царство внешней формальности, в то время как русская культура определяется стремлением к единству и пафосом неформальности, даже неточности [см. Uffelmann: 2006]. В отличие от «внешнего» абстрактно-формального подхода к экономике на Западе отличительной чертой русской экономической мысли считается связь материального хозяйства с внутренним миром человека.

В свете вышесказанного не удивительно, что западные экономические концепции вызывали в России противоречивые реакции: «In no other country was the transplantation and adoption of foreign ideas in the field of economics as strong and rapid as in Russia. The idea of Russian cultural isolation is a myth in the field of economics. No other country so peculiarly recreated foreign economic ideas and attempted to adjust them immediately to its own conditions. No other country fought against imported ideas as violently as Russia. Nowhere else was the national economic thought moving in such a humanistic fog and at the same time continuously attempting practical applications of its grandiose schemes» [Normano 1945: IX]. Ведь «экономика» – чужое,

---

<sup>2</sup> К концепции Булгакова см.: [Rosenthal 1991].

заимствованное слово<sup>3</sup>, которое в русском языке содержит намек на «узко» расчетливую бережливость, в то время как русское (собственно говоря, татарское) слово «хозяйство» намекает на властвование хозяина, в большей мере соответствующее «широкой русской натуре»<sup>4</sup>.

Публицистика и художественная литература как XIX, так и XX в., предоставляет богатый спектр позиций по экономическим вопросам и конструкций разных гибридных моделей. На одном конце шкалы находятся произведения, отвергающие импорт чуждых представлений, а на другом – тексты, предлагающие разные формы ассимиляции западных концепций. Как мы постараемся показать в дальнейшем, анализ с точки зрения экономического дискурса является не только внешней социологизацией литературы, но и раскрытием некоторых ее существенных культурных и эстетических аспектов. Исследование проводится на материале избранных произведений XIX в. Под грифом «экономить» рассматриваются тексты авторов, отличающихся известной склонностью к адаптации западных концептов (Гоголь, Гончаров), в то время как «тратить» обозначает противоположный полюс антиэкономического мышления (Достоевский). Особое место занимает экономический минимализм Толстого. Все проанализированные нами тексты свидетельствуют о том, что диалог культур в плане экономических представлений развивается довольно сложными путями. Одну из причин этого мы видим в асимметричности диалога. Русские авторы, конечно, понимают, что центр экономической динамики находится в Европе и что Россия по отношению к этому центру занимает периферийную позицию. Мощная эмоциональная нагрузка этого диалога объясняется тем, что в русском обществе XIX в., с одной стороны, наблюдается сильный спрос на эконо-

---

<sup>3</sup> См. строчки из «Евгения Онегина», где с иронией говорится о герое: «Зато читал Адама Смита / И был глубокий эконоом» [Пушкин 1957: 12]. Отношение Пушкина к деньгам исследует Томас Гроб [Grob 2004].

<sup>4</sup> О происхождении слова 'хозяйин' из тюркских языков см.: [Фасмер 1973: 254].

мические реформы и сознание, что нельзя обойтись без известного заимствования западных концепций; в то же время очень силен страх потери собственной культурной идентичности.

## **2. Божественное предопределение и накопление капитала – «Мертвые души» Н. Гоголя**

С вопросами экономики Гоголь непосредственно сталкивается в связи с расстроеным имением его родителей, на которое ему «грустно было смотреть» [Гоголь 1937–1941. Т. 10: 239]. Среди его корреспонденции мы находим немало писем к матери, посвященных хозяйственным вопросам. Если в письмах 1830-х гг. он прежде всего жалуется на плохое экономическое состояние имения, то в 1840-е гг. на первый план выдвигаются размышления о полезном труде и советы по хозяйствованию [см. Гоголь Т. 12: 171–175]. Еще в 1832 г. Гоголь видит лишь одну причину кризиса сельского хозяйства в том, что «капиталов нет» [Гоголь Т. 10: 239]. В «Мертвых душах» автор наконец приступает к художественной обработке проблемы накопления капитала. По отношению к Чичикову Гоголь занимает глубоко амбивалентную позицию: в своем герое он видит не только подлеца и приобретателя, но и будущего хозяина [Гоголь Т. 6: 241]. Чичиков является своего рода русским вариантом homo oeconomicus. В его воспитании присутствуют определенные черты аскетической бережливости: он слушался отцовского совета – «больше всего береги и копи копейку» [там же: 225] – и еще ребенком «умел уже отказаться себе во всем» [там же: 226]. В школе он занимается спекуляцией бутербродами, а приобретенные деньги зашивает в мешок. Его дальнейший путь, однако, сильно отклоняется от идеальной пуританской модели: он впутывается в разные нечистые дела и затевает мошеннический проект покупки мертвых душ, которые он хочет отдать в залог.

Скорее всего, Чичиков соответствует типу спекулянта, мечтающего о счастливой жизни и отличающегося, по В. Зом-

заимствованное слово<sup>3</sup>, которое в русском языке содержит намек на «узко» расчетливую бережливость, в то время как русское (собственно говоря, татарское) слово «хозяйство» намекает на властвование хозяина, в большей мере соответствующее «широкой русской натуре»<sup>4</sup>.

Публицистика и художественная литература как XIX, так и XX в., предоставляет богатый спектр позиций по экономическим вопросам и конструкций разных гибридных моделей. На одном конце шкалы находятся произведения, отвергающие импорт чуждых представлений, а на другом – тексты, предлагающие разные формы ассимиляции западных концепций. Как мы постараемся показать в дальнейшем, анализ с точки зрения экономического дискурса является не только внешней социологизацией литературы, но и раскрытием некоторых ее существенных культурных и эстетических аспектов. Исследование проводится на материале избранных произведений XIX в. Под грифом «экономить» рассматриваются тексты авторов, отличающихся известной склонностью к адаптации западных концептов (Гоголь, Гончаров), в то время как «тратить» обозначает противоположный полюс антиэкономического мышления (Достоевский). Особое место занимает экономический минимализм Толстого. Все проанализированные нами тексты свидетельствуют о том, что диалог культур в плане экономических представлений развивается довольно сложными путями. Одну из причин этого мы видим в асимметричности диалога. Русские авторы, конечно, понимают, что центр экономической динамики находится в Европе и что Россия по отношению к этому центру занимает периферийную позицию. Мощная эмоциональная нагрузка этого диалога объясняется тем, что в русском обществе XIX в., с одной стороны, наблюдается сильный спрос на эконо-

---

<sup>3</sup> См. строчки из «Евгения Онегина», где с иронией говорится о герое: «Зато читал Адама Смита / И был глубокий эконоом» [Пушкин 1957: 12]. Отношение Пушкина к деньгам исследует Томас Гроб [Grob 2004].

<sup>4</sup> О происхождении слова 'хозяйин' из тюркских языков см.: [Фасмер 1973: 254].

мические реформы и сознание, что нельзя обойтись без известного заимствования западных концепций; в то же время очень силен страх потери собственной культурной идентичности.

## **2. Божественное предопределение и накопление капитала – «Мертвые души» Н. Гоголя**

С вопросами экономики Гоголь непосредственно сталкивается в связи с расстроеным имением его родителей, на которое ему «грустно было смотреть» [Гоголь 1937–1941. Т. 10: 239]. Среди его корреспонденции мы находим немало писем к матери, посвященных хозяйственным вопросам. Если в письмах 1830-х гг. он прежде всего жалуется на плохое экономическое состояние имения, то в 1840-е гг. на первый план выдвигаются размышления о полезном труде и советы по хозяйствованию [см. Гоголь Т. 12: 171–175]. Еще в 1832 г. Гоголь видит лишь одну причину кризиса сельского хозяйства в том, что «капиталов нет» [Гоголь Т. 10: 239]. В «Мертвых душах» автор наконец приступает к художественной обработке проблемы накопления капитала. По отношению к Чичикову Гоголь занимает глубоко амбивалентную позицию: в своем герое он видит не только подлеца и приобретателя, но и будущего хозяина [Гоголь Т. 6: 241]. Чичиков является своего рода русским вариантом homo oeconomicus. В его воспитании присутствуют определенные черты аскетической бережливости: он слушался отцовского совета – «больше всего береги и копи копейку» [там же: 225] – и еще ребенком «умел уже отказаться себе во всем» [там же: 226]. В школе он занимается спекуляцией бутербродами, а приобретенные деньги зашивает в мешок. Его дальнейший путь, однако, сильно отклоняется от идеальной пуританской модели: он впутывается в разные нечистые дела и затевает мошеннический проект покупки мертвых душ, которые он хочет отдать в залог.

Скорее всего, Чичиков соответствует типу спекулянта, мечтающего о счастливой жизни и отличающегося, по В. Зом-

барту, «суггестивной силой, с которой он осуществляет свои планы» [Sombart 1920: 21]. Согласно тезису Д. Саврамиса, продолжающего исследовательскую линию Макса Вебера, авантюристический капитализм находится в причинной связи с восточной религиозностью, построенной на «религии чувства» [Savramis 1963: 345]. При этом Саврамис ссылается на Вебера, писавшего, что в экономике Востока нет того преломления и рационального преобразования влечения к приобретательству и его интеграции в систему рациональной этики действия, которая выработалась в протестантизме [см. Weber 1920–1921: 372]. Отказ мистической внемирской аскезы от деятельности обновления и перестройки мира привел к разрыву между учением церкви и поведением людей. Впоследствии неудержимая жажда приобретения, проявляющаяся в авантюристическом капитализме, смогла взять верх, несмотря на антимаммонистическую ориентацию церкви. Создавая образ Чичикова, Гоголь гениально предчувствует это существенное отклонение от пуританской модели аккумуляции капитала.

Развивая свой бизнес покупки мертвых душ, гоголевский герой мечтает о будущем имуществе, о семейном счастье и потомстве. Если в ранней редакции Чичиков характеризуется скорее отрицательным образом – как «прожектёр» [Гоголь Т. 6: 574], т. е. как человек, занимающийся нереальными проектами, то потом он становится полноценным «хозяином» (греч. «oikonomos»). В конце первого тома «Мертвых душ» мы находим загадочный намек на то, что «непостижимая страсть» [там же: 242] к приобретению – от мудрости неба. Это напоминает кальвинистское учение о божественном провидении, о предопределении, согласно которому человек, преследующий свои профессиональные интересы, становится орудием Божией милости. Но для этого страсть к наживе Чичикова должна быть облагорожена, т. е. направлена в положительное русло. Очищение приобретательства от шлаков «ничтожной страстишки» принимает более четкие контуры во второй части поэмы, где Чичиков

должен пройти процесс воспитания и внутреннего развития. После беседы с помещиком Костанжогло у него возникает желание сделаться владельцем не фантастического, а реального имущества. Откупщик Муразов же говорит, что благодаря своей силе воли и железному терпению Чичикову суждено стать «великим человеком», как только он осознает, что благоустройство здешней жизни невозможно без «благоустройства душевного имущества» [Гоголь Т. 7: 122]<sup>5</sup>.

Возникает вопрос об источниках экономических воззрений Гоголя. Евангельская и святоотеческая традиция, на которую опирается Гоголь, скорее, критически относится к деятельности, направленной на накопление богатств [см. Гончаров 1997: 235; Uffelmann 2006: 484]. Некоторые идеи, близкие Гоголю, мы находим в философии Григория Сковороды, который учил, что каждый человек должен выбрать «сродный труд», соответствующий его высшему назначению, чтобы выполнить ту должность, «для которой он в мире родился, самым вышним к тому предопределен» [Сковорода 1973: 419]. Учение Сковороды о звании человека напоминает концепцию призвания (Beruf), которая возникла в эпоху немецкой реформации, в особенности у Лютера [см. Вебер 2006: 43–51]. Во втором томе «Мертвых душ» Чичиков уже находится на пути осознания своего настоящего назначения, когда чувствует, что трудное дело хозяйства «свойственно его натуре» [Гоголь Т. 7: 77]. Однако влияние идей Сковороды полностью не объясняет происхождение экономических воззрений Гоголя. Вполне можно согласиться с Чижевским, который указывает на параллели с теориями Б. Франклина и пуританизма [Tschizewskij 1964: 110]. Нам кажется несомненным, что Гоголь в «Мертвых душах» стремится к синтезу западных экономических концепций с русской православной традицией. Однако стоит указать на принципиальное противоречие, пронизывающее гоголевские размышления о хозяйстве.

---

<sup>5</sup> В другом месте [Т. 12: 222] Гоголь употребляет выражение «внутреннее хозяйство».

Так, Гоголь прославляет устами Костанжогло из второго тома «Мертвых душ» идеал патриархального хозяйства, но одновременно и симпатизирует герою, который олицетворяет процесс накопления капитала, прямо подрывающий эту ретроградную идиллию.

С особой остротой приобретательство Чичикова осуждается в трактате Д. Мережковского «Гоголь и черт», в котором гоголевский герой отождествляется с бесовской силой. Согласно Мережковскому, «странствующий рыцарь денег» – представитель буржуазной пошлости, для которого сила денег – «не грубая внешняя, а внутренняя сила духа», а в мыслях его о деньгах заключено «нечто безусловное, <...> почти религиозное» [Мережковский 1906: 45]. Сопоставление денег и религии представляется не случайным. В своей замечательной книге «Философия денег» Георг Зиммель объясняет враждебность церкви к деньгам тем, что денежный интерес считался опасной конкуренцией для религиозного мироощущения [см. Simmel 1998: 306], а Йохен Хёриш констатирует, что кодирование мира в медиуме денег осуждалось как нечто сатанинское, поскольку оно подрывает – и в значительной степени фактически заменяет – преимущество религиозного чтения действительности [см. Hörisch 1996: 53–56].

Во внешней благопристойности Чичикова Мережковский видит «общее достояние современной мещански-денежной культуры», а в его пристрастии к «комфорту»<sup>6</sup> – «высший культурный цвет» [Мережковский 1906: 45] буржуазного строя. Поскольку интерес Чичикова, представителя петербургского периода русской истории и прогресса, направлен лишь на «бесконечное приобретение, накопление *мертвого* капитала, – сокровища “мертвых душ”» [там же: 46], он отождествляется с Наполеоном и антихристом. Мережковский очень чутко улавливает тонкие детали мещанского менталитета гоголевского героя, но не ви-

---

<sup>6</sup> Согласно М. Веберу [2006: 121], понятие «comfort», возникшее в среде квакеров, охватывает круг «этически дозволенных способов пользования своим имуществом».

дит или не хочет видеть главную установку Гоголя, нацеленную на очищение страсти к приобретению и на превращение этой страсти в положительный стимул хозяйственного развития.

Экономическая проблематика не только определяет общую сюжетную линию поэмы, но и проникает в детали характеристики персонажей. В первую очередь это касается Чичикова, «человека без свойств», который проявляет «необыкновенную способность приспособиться ко всему» [Гоголь Т. 7: 29]<sup>7</sup>. Перед зеркалом он умеет придать лицу «множество разных выражений» [Гоголь Т. 6: 161]. Поскольку он ни толст, ни тонок, ни молод, ни стар, он во всех отношениях воплощает срединную пошлость, являясь тем самым чистой «маской характера» и «персонификацией экономических отношений» [Marx, Engels 1975: 100]. Согласно Зиммелю, безликость и бесхарактерность людей, которые тяготеют только к деньгам, объясняются тем, что деньги лишены всякого специфического содержания [см. Simmel 1998: 273]. Удивительная моложавость и подвижность Чичикова свидетельствуют о его неутомимой энергии. Предположительно прототипом деятельного и предприимчивого героя являлся бывший соученик Гоголя по Нежинской гимназии Семен Шаржинский, который служил в самых разных местах [см. Виноградов 2001: 524]. У чичиковского проекта поселения несуществующих душ в Херсонской или Таврической губернии есть также исторический фон: в 1840 г. Гоголь собирал статистические сведения о раздаче земель в Южной России, которые содержат информацию о поддержке поселения на новороссийских территориях [там же: 399–401].

Главный атрибут Чичикова – это его шкатулка, в которой среди прочего находится «потаенный ящик для денег» [Гоголь Т. 6: 56]. Не случайно она не раз привлекала к себе внимание исследователей. Мережковский, подчеркивая квази-религиозное значение шкатулки для ее владельца, видит в ней «новый

---

<sup>7</sup> О хамелеоновской натуре Чичикова см.: М.В. Храпченко [Храпченко 1956: 380–382].

“ковчег завета”» [Мережковский 1906: 38]. Для А. Белого шкатулка – «план приобретения, таимый в футляре души, вскрываемой без свидетелей» [Белый 1934: 97]. Синявскому странный ларчик напоминает волшебный ящик из сказки, из подземного низа которого выходят купленные им мужики [Синявский 2001: 321]. О сходстве мотива склада со шкатулкой Чичикова пишет Вайскопф [см. Вайскопф 1993: 513]. Й. Хёриш обращает внимание на амбивалентность мотива шкатулки в литературе, который в то же время означает «место плодородности и богатства, как и место смерти» [Hörisch 1996: 138]. Без сомнения, шкатулка является тайным центром и концентратом загадочной деятельности Чичикова.

Помещики, с которыми Чичиков ведет переговоры о покупке мертвых душ, тоже обладают известными символическими чертами, проливающими свет на их экономическое поведение. У Манилова это курение трубки, причем горки золы он расставляет на окнах красивыми рядками. Дым и зола символизируют его хозяйственную философию: дым – это его воздушные замки, а зола – разорившееся имение вместе с крестьянами, о которых он не заботится. Для него «умершие души в некотором роде совершенная дрянь» [Гоголь Т. 6: 37]. В фамилии Коробочки уже выражена определенная программа хозяйствования. Но она кое-что знает о хозяйстве, не случайно интересуется шкатулкой Чичикова и не ленится поехать в своем экипаже-арбузе в город, чтобы узнать, «почем ходят мертвые души» [Гоголь Т. 6: 177]. В отличие от ограниченности Коробочки, навязчивый Ноздрев отличается стремлением к агрессивному переходу границ во всех отношениях. Этой черте соответствует и его чрезмерная склонность к меновой сделке. Собакевич репрезентирует распространенный в деревенской среде образ мысли, направленный на «субстанциальность» [Simmel 1998: 302], а не на меновую стоимость предметов. Это выражается, например, в его манере говорить о преимуществах мертвых крестьян, как будто

они живые, или в его взглядах на еду. Наконец, патологический собиратель Плюшкин озабочен в первую очередь не денежной, а материальной ценностью вещей, которая, однако, не реализуется им, а уничтожается бессмысленным накоплением. Имение Плюшкина отражает застывание всякой хозяйственной деятельности, и своеобразным символом гниения и смерти в нем являются вездесущие мухи [см. Hansen-Löve 1995: 238–239]. Тем самым помещики из «Мертвых душ» – тоже приобретатели и накопители, но их хозяйство статично и мертво. Лишь динамичный Чичиков обращает «приобретательство в подвиг» [Синявский 2001: 280], целеустремленно преследуя цель умножения капитала.

Если мы исходим из положения, сформулированного еще Аристотелем, что деньги делают все предметы соизмеримыми, то покупка мертвых душ, конечно, шокирует в первую очередь тем, что душа фигурирует здесь в качестве денежного эквивалента [см. Гончаров 1997: 179–201]. Мережковский видит кошунство в том, что человеческие души – будь то мертвые или живые – продаются как «бездушный товар на рынке» [Мережковский 1905: 53]. Не лишено комизма то обстоятельство, что либеральная цензура была возмущена низкой ценой, которую Чичиков дает за душу [Гоголь Т. 6: 890]. «Будучи объявленной сосудом божественной милости, человеческая душа стала несоизмеримой для всех земных масштабов и осталась таковой», пишет Г. Зиммель [Simmel 1998: 492]. В заглавии гоголевского романа мертвое и бессмертное, материальное и духовное сочетаются гротескным и парадоксальным образом. Поскольку деньги, по выражению Зиммеля, являются «тем центром, в котором соприкасаются и сходятся самые противоположные, самые чуждые друг другу и самые отдаленные предметы» [там же: 305], это определение напоминает структуру оксюморона как «соответствия несоответствующего» [см. Lachmann 1994: 138]. Поэтому как деньгам, так и оксюморонному выражению свойственно нечто глубоко

иррациональное, мистическое. Не удивительно поэтому, что странные денежные операции Чичикова создали ему ауру антихриста и Наполеона<sup>8</sup>.

«Мертвые души» Гоголя находятся на тонкой грани неприятия вторжения денежных отношений в хозяйственную жизнь России и одновременно понимания необходимости этого процесса. Здесь берет свое начало и неистребимая двойственность в оценке главного героя. Поскольку «Мертвые души» остались незаконченными, трудно предположить, как Гоголь намеревался примирить экономию денег и экономию души и как он собирался реализовать человеческое и экономическое «воскрешение» мертвых душ. В лирических отступлениях первого и в дошедших до нас главах второго тома мы находим лишь намеки на возможные пути таинственного преобразования Чичикова и остальных героев. Конфликт между гротескной художественной манерой и нарастающим стремлением к риторике дидактики и проповеди отражает не только эстетические и идейные колебания Гоголя, но и связан с проблемой определения экономической перспективы.

### **3. Homo oeconomicus и русский меланхолик – «Обломов» И. Гончарова**

Если у Гоголя экономическая проблематика предстанет в гротескной форме торговли мертвыми душами, Гончаров устремляет свой взгляд на Запад, чтобы испытать совместимость западной экономики с русской культурной традицией. Адаптация чужого, однако, оказывается нелегкой задачей. Сам

---

<sup>8</sup> К. Богданов указывает на то, что для народа «деньги чудесны по происхождению» [Богданов 1995: 63] и что с ними часто связаны дьявольские ассоциации. Продолжение и обострение этой критики денег мы находим в романтизме, который провозглашает несоизмеримость искусства и денег [см.: Grob 2001; Гюнтер 2003]. В романтизме, как и у наследников романтической критики денег, наблюдается тенденция к обобщению «дьявольской» функции денег за счет «символической» [см.: Luhmann 1988].

автор, который после путешествия на фрегате «Паллада» проводит «параллель между чужим и своим», признается в путевых очерках: «Мы так глубоко вросли корнями у себя дома, что, куда и как надолго бы я ни заехал, я всюду унесу почву родной Обломовки на ногах, и никакие океаны не смоют ее!» [Гончаров 1952: 73]. Лондонская жизнь с ее «выдумками, машинками, пружинками и таблицами» [там же: 66] противопоставляется им «деятельной лени и ленивой деятельности русского барина» [там же: 70]. Отметим, что мотив таблицы как регулятора человеческой жизни, который не случайно появляется в связи с отцом Штольца [Гончаров 1987: 460–461], служит в русской культуре устрашающим воплощением капиталистического человека-автомата<sup>9</sup>. Этот мотив восходит к классическому примеру дневника Бенджамина Франклина с его таблицами режима повседневной жизни и исчислениями экономического успеха [см. Вебер 2006: 94]. Этим педантизмом пуритане подвергали поведение человека и его избранность методичному контролю. Близок к таблице и мотив машины, который в русской культуре XIX в. осмысляется амбивалентно [Краснощекова 1993: 71–72]. Машина поражает своей функциональностью, но одновременно и пугает угрозой механизации живого. Гончаров ценит практичность английской жизни, однако ему не нравится, что «жизнь всех и каждого сложилась и действует очень практически, как машина» [Гончаров 1952: 56].

Конфронтация западного и русского менталитета во «Фрегате Паллада» предвосхищает противопоставление Штольца и Обломова. Русский немец Штолец обладает рядом черт «машины для получения дохода» (Erwerbsmaschine), описанной у Макса Вебера [2006: 120]. Худощавый и мускулистый, как «кровная английская лошадь», работающий для какой-то экспортной компании, Штолец «беспреданно в движении»

<sup>9</sup> В «Записках из подполья» Достоевский высмеивает идею регулирования жизни человека таблицами [Достоевский 1972–1990. Т. 5: 113–114]. Подобным образом для С. Булгакова homo oeconomicus – это «счетная линейка, с математической правильностью» [1993: 243], реагирующая на движение рынка.

[Гончаров 1987: 127]. Когда его спрашивают, для чего он живет, он формулирует свое кредо так: «Для самого труда, больше ни для чего. Труд – образ, содержание, стихия и цель жизни, по крайней мере моей» [там же: 144]. Жизнь Штольца проходит под девизом крайней бережливости энергии и времени<sup>10</sup>: «Жил по бюджету, стараясь тратить каждый день, как каждый рубль, с ежеминутным, никогда не дремлющим контролем издержанного времени, труда, сил души и сердца» [там же: 128]. Даже лишних движений и лишней мимики у него нет. «Пуританский фанатизм» [там же: 129–130] Штольца простирается также и на его эмоциональную жизнь: он везде стремится к разумному равновесию чувств, избегает всяческих порывов страсти и провозглашает, что надо «донести сосуд жизни до последнего дня, не пролив ни одной капли напрасно» [там же: 130]. Штолец отражает негативное отношение пуританизма «ко всем чувственно-эмоциональным элементам культуры» [Вебер 2006: 83], которые не сочетаются с его аскетическим существом. Трудно сказать, насколько преуспела русская мать Штольца, которая стремилась отвести сына «от прямой, начертанной отцом колеи и из бесцветной таблицы делала яркую, широкую картину» [Гончаров 1987: 348].

Декларативная и почти карикатурная характеристика Штольца как представителя пуританского духа во многом объясняется тем, что он явно задуман как «противоядие Обломова» [Добролюбов 1975: 206], как анти-Обломов. Его деятельный образ жизни прямо противоположен «пара-азиатскому» [Щукин 1997: 118] хозяйству Обломовки. Символом этой жизни является восточный халат Обломова «без малейшего намека на Европу» [Гончаров 1987: 8]. Жизнь его имения основана на «первобытной лени» [там же: 96], и жители смотрят на труд

<sup>10</sup> М. Вебер [2006: 26–27] обстоятельно цитирует классический документ Франклина 1736 г., в котором среди прочего встречается и широко известная формула «time is money». Прагматическая расчетливость изображается Гончаровым еще до «Фрегата Паллада» в образе Петра Адуева в «Обыкновенной истории» (1847).

как на «наказание, наложенное еще на праотцев наших» [там же: 97]. Они живут по принципу закрытого домашнего хозяйства [Meyer 1997: 201–209], глухи «к политико-экономическим истинам о необходимости быстрого и живого обращения капиталов, об усиленной производительности и мене продуктов» [Гончаров 1987: 101]<sup>11</sup> и хранят деньги в сундуке. Их докапиталистический хозяйственный этос функционирует по принципу удовлетворения основных потребностей, среди которых доминирует «идея питания» [см. Sombart 1920: 14]. Дальнейшие признаки – медленные темпы работы, отсутствие любви к труду, большое число праздников, власть традиции и привычки, пренебрежение к подсчетам. Основной чертой этой жизни, которая текла «как покойная река» [Гончаров 1987: 97], является «уверенное спокойствие, свойственное всему органическому бытию» [Sombart 1920: 23]. Обломовская идиллия является потерянным раем. Запланированная постройка железной дороги, которая включает Обломовку в хозяйственный оборот, означает победу механического над органическим, принципа Штольца над принципом Обломова.

В беседе с Обломовым Штолец предстает перед нами как образцовый представитель экономического рационализма. Гончаров, однако, не удовлетворяется этим и с помощью проверенного сюжета испытания любовью пытается проникнуть еще глубже в пуританскую душу своего героя [Краснощекова 1993: 314–318]<sup>12</sup>. В связи с женитьбой на Ольге перед Штольцем встает вопрос, «как примирится его внешняя, до сих пор

---

<sup>11</sup> К знакомству Гончарова с политэкономическими теориями своего времени см. примечания Л.С. Гейро [Гейро 1987: 655, прим. 10; 661, прим. 29].

<sup>12</sup> Подчеркивая сходство первой фазы работы над романом с «Фрегатом Паллада», Краснощекова [Краснощекова 1994: 314–318] показывает, что роль Штольца впоследствии была сведена от титанического «деятеля» цивилизации к более прозаичному «дельцу». Она объясняет этот факт введением в 1857 г. в роман Ольги. В этой интерпретации главной осью сюжета стало отношение Обломова к двум женским персонажам. Но можно предположить, что переоценка Штольца объясняется и растущим недоверием автора к абстрактному идеалу прогрессивного цивилизатора.

неутомимая деятельность с внутреннею, семейною жизнью» [Гончаров 1987: 350]. В ранней редакции романа этот конфликт описывается в более острой форме: «Штольц считал женитьбу гробом не любви, а своего собственного, гражданского труда, дел и существования – он понимал, что любовь в лице Ольги помешает ему ездить в Сибирь, копать золото, посылать грузы пшеницы за границу, участвовать в компаниях, даже служить казне так, как он понимал службу» [там же: 493]. В окончательном варианте романа энергичный Штольц справляется с этой проблемой благодаря своему энергичному пуританскому этосу.

Согласно Норберту Элиасу, прогрессирующее разделение функций заставляет индивидуума «регулировать свое поведение все более дифференцированно, все более размеренно и стабильно» [Elias 1969: 317] и перестраивать свое душевное хозяйство в смысле равновесной регулировки инстинктов. Именно такой долгосрочный контроль над самим собой и стремление к «средней линии» эмоциональной жизни характерны для Штольца. Его мужественно «закаленная душа» [Гончаров 1987: 348, 353], т. е. его твердое Сверх-Я, которое образовалось в жизненной борьбе, контрастирует с ребячески мягкой душой Обломова. В отличие от Обломова, Штольц одобряет активную перестройку психики в соответствии с потребностями процесса цивилизации, когда он говорит, что «человек должен сам устраивать себя и даже менять свою природу» [там же: 305]. В то время как Штольц характеризуется высоким профессиональным этосом, Обломов настойчиво отказывается играть определенную «роль» [Гончаров 1987: 49, 51] в обществе, потому что в самом определении социальной роли он видит раздробление и потерю целостности человека.

На фоне процесса дифференциации функций и экономической рационализации стоит рассмотреть вопрос целостности обоих персонажей романа, который не раз обсуждался в критике. По отношению к характеру Обломова можно говорить

о диалектике отрывочности и мнимой тотальности в том смысле, что раздроблению современного общества он противопоставляет мнимую целостность психотика с инфантильными чертами [см. Koschmal 1994: 257–259]. Другое дело – Штольц, который воображает себя целостным<sup>13</sup>. Однако и его целостность оказывается в конце концов мнимой. Как бы автор ни старался снабдить своего героя правдоподобной внутренней жизнью, он не мог не видеть редуцированности души экономического человека. Неразрешимая дилемма Гончарова состояла в том, что он считал экономический прогресс необходимым для России, одновременно осознавая связанные с этим процессом человеческие потери и непредсказуемость положительных результатов. Меланхолия, окружающая образ Обломова, – его презрение к суете мира и его мечта о потерянном рае – являются результатом его существования «между временем, которого уже нет и временем, которого еще нет» [Lambrecht 1996: 192]. Как человек, стоящий в стороне от общественной жизни, он расстался с тем миром, куда Штольц хотел ввести его, предпочитая этому постепенное угасание жизни.

Ольга, напротив, доверяется Штольцу как «руководителю» и «вождю», ведущему в будущее. Известно, что Гончаров был поклонником эволюционистского взгляда на историю. В соответствии с этим экономическое развитие России ему представлялось постепенным присвоением «чужого», длительным процессом гибридизации. Несмотря на «смешанные элементы» [Гончаров 1987: 130], из которых сложился его характер, полу-немец Штольц еще недостаточно укоренен в русской культуре. Это значит, что процесс ассимиляции далеко не кончился: «Сколько Штольцев должно явиться под русскими именами!» [там же: 305]. Саму «идею» романа следует искать не в одном изолированном образе, а в процессуальной диалектике их

---

<sup>13</sup> П. Тирген [Thiergen 1989: 191], наоборот, считает, что «человек-обломок» противостоит цельному человеку Штольцу.

соотношений и в плане «общественного самовоспитания»<sup>14</sup>. Синтез, к которому стремился автор, воплощается в Андрюше, сыне Обломова. Он русского происхождения, но является воспитанником Штольца. В этом смысле можно понимать и обещание, данное Штольцем Обломову перед его смертью: «Но поведи твоего Андрея, куда ты не мог идти...» [Гончаров 1987: 376].

#### **4. Бунт аффектов против капитала и логика потлача: «Подросток» и «Игрок» Ф. Достоевского**

Для героев Достоевского характерно глубоко антирациональное – в экономическом смысле – отношение к деньгам<sup>15</sup>. Взгляд на деньги у Достоевского отличается до того мощной аффективной нагрузкой (и даже перегрузкой), что их первостепенные функции как медиума платежа уходят на второй план. Аффективная нагрузка денег проявляется в том, что в качестве эквивалента в большинстве случаев выступают не какие-либо материальные эквиваленты, а эмоциональные ценности – любовь, борьба за признание, чувство могущества и т. д. Деньги не приобретаются «экономическим образом». Лишь по крайней нужде герой зарабатывает деньги собственным трудом, он лучше возьмет их в долг, выиграет на рулетке, наследует или, в крайнем случае, приобретет преступным путем. Соответственно, деньги тратятся не согласно обычной экономической логике, а в соответствии с внезапными порывами души.

Самым ярким примером непроизводительной траты является потлач. Суть потлача – в «дарении значительных богатств,

<sup>14</sup> Культурные предпосылки этого развития подчеркивает и С. Булгаков [Булгаков 2006: 367], который считает, что, «преследуя цель экономического оздоровления России, не следует забывать о духовных его предпосылках, именно о выработке и соответственной хозяйственной психологии, которая может явиться лишь делом общественного самовоспитания».

<sup>15</sup> Согласно В. Подороге [Подорога 2006: 429], «Достоевский не видел в деньгах экономического инструмента жизни <...>, ибо не принимал во внимание социальное назначение денег. Точнее, видел в них лишь некое внешнее условие, вынуждающее принять правила общественной и экономической жизни».

публично предлагаемых с целью оскорбить и обязать соперника, бросив ему вызов» [Батай 2003: 193]. Получивший дар должен принять вызов и ответить новым, более щедрым потлачем. Существенен в потлаче его показной характер, который рассчитан на «воздействие, оказанное на другого» [там же: 61]. Действенность потлача в том, что другого заставляют изменить свое поведение. Именно логикой потлача, а не экономической логикой можно понимать аффективно насыщенные поступки героев Достоевского, в частности их «нелогичные и непреодолимые порывы к отказу от материальных или моральных благ» [там же: 204]. Разумеется, у Достоевского – как вообще в Новое время – потлач проявляется уже не в той ярко выраженной форме, как в архаическом обществе. Рядом с настоящим потлачем у героев Достоевского часто встречается лишь воображаемый потлач или жест заявленного потлача.

На примере избранных мотивов из романов «Подросток» и «Игрок» постараемся осветить антиэкономическое отношение к деньгам у Достоевского. Перед героем «Подростка» открываются три возможности приобретения капитала – «идея Ротшильда», игра и наследство. Статья Ротшильдом<sup>16</sup> – лишь теоретическая идея Аркадия, которая, однако, дискредитируется как ложная идея «золотого тельца». На первый взгляд идея Ротшильда похожа на пуританскую модель аккумуляции капитала, поскольку она, по словам героя, предполагает упорство и непрерывность в наживании, «монастырь и схимничество» [Достоевский 1972–1990. Т. 13: 67], т. е. мирскую аскезу. Но потом выясняется, что герой жаждет совсем не капитала, а могущества. Он понимает, что «деньги сравнивают все неравенства» и что они – «единственный путь, который приводит на первое место даже ничтожество» [там же: 74]. В этой связи он цитирует слова скупого рыцаря Пушкина: «Мне все послушно, я же – ничему; / Я выше всех желаний; я спокоен; / Я знаю мощь мою: с меня довольно / Сего сознанья...» [Пушкин 1957: 343].

---

<sup>16</sup> К роли и оценке Ротшильда у Достоевского см.: F. Ph. Ingold [Ingold 1981: 80–87].

Пушкинского рыцаря, как и героя Достоевского, волнует чистая возможность, которая как бы застыла и воплотилась в деньгах. Для Подростка, который считает себя ничтожным существом, капитал – лишь средство в борьбе за признание со стороны своего биологического отца Версилова и со стороны общества. Поэтому ротшильдовская идея в конечном счете сводится к воображаемому потлачу. Если герой дошел бы до неслыханного богатства и этим достиг бы общего внимания, он отдал бы все свои миллионы людям, он «бросил бы их обществу» [Достоевский Т. 13: 76], чтобы доказать, что не в деньгах дело.

Поскольку идея Ротшильда является абстрактной мечтой, она на протяжении романа постепенно теряет свою силу и заменяется более реальными стимулами – игрой на рулетке и интригой вокруг наследства, которая оказывается пружиной сюжета в собственном смысле. В руках Аркадия находится документ, имеющий решительное значение в судебном споре Версилова за наследство. Этот документ, который дает Аркадию власть над судьбой не только Версилова, но и красивой женщины, внимание которой он хочет к себе привлечь, фактически выполняет роль материального эквивалента идеи Ротшильда [см. Савченко 1964: 46–48]. Аркадий как сын Версилова, потенциально претендующий на известную долю наследства, готов отказаться от своих денег, чтобы в акте воображаемого потлача поставить себя «в высшее над Версильовым положение» и сохранить за собою «навек высший нравственный взгляд на будущий поступок Версилова» [Достоевский Т. 13: 116].

Второй эквивалент идеи Ротшильда у Аркадия – игра: «Мне деньги были нужны ужасно, и хоть это был и не мой путь, не моя идея, но так или этак, а я тогда все-таки решил попробовать, в виде опыта, и этим путем» [там же: 229]. Как ни парадоксально, Аркадий утверждает, что вовсе не любит деньги: «Только что выиграю и тотчас на все плюну» [там же]. О крайней возбужденности героя при денежных транзакциях свидетельствует сцена, в которой он после выигрыша хочет вернуть

князю Сокольскому определенную сумму, которую он получил от него в долг. Отказ князя вызывает крайне резкую реакцию Аркадия. Он бросает «в него этой пачкой радужных, которую оставил было себе для разживы. Пачка попала ему прямо в жилет и шлепнулась на пол» [там же]. Здесь деньги функционируют исключительно как медиум аффективной коммуникации.

Денежный дискурс в романе «Игроке» свидетельствует об антизападных настроениях Достоевского не менее сильно, чем в «Подростке». Недаром в рассказе Аркадия об идее Ротшильда упоминается немецкий «фатер», который отличается упорством в накоплении капитала, но, конечно, не может сравниться с Ротшильдом в масштабах. В «Игроке» противопоставляются два способа накопления богатств – немецкий и русский. Немецкий мещанский «фатер» непрерывно и терпеливо накапливает деньги в течение десятилетий для того, чтобы создать капитал, который он передаст своим детям, так что через несколько поколений выходит что-то вроде Ротшильда или «Гоппе и Комп.». Алексей бунтует против такого представления: «Я уж лучше хочу дебоширить по-русски или разживаться на рулетке. Не хочу я быть Гоппе и Комп. через пять поколений. Мне деньги нужны для меня самого, а я не считаю всего себя чем-то необходимым и придаточным к капиталу» [Достоевский Т. 5: 226].

Герой подтверждает представление об эквивалентности игры и других видов наживы капитала: «И почему игра хуже какого бы то ни было способа добывания денег, например, хоть торговли?» [там же: 216]. В «Игроке» главным эквивалентом денег выступает любовь, что обостряет ситуацию, поскольку соизмеримость денег и любви оказывается очень проблематичной. Алексею, который чувствует себя по отношению к своей возлюбленной Полине ничтожным рабом, кажется, что с деньгами он станет для нее «другим человеком» [там же: 229]. В романе непрерывно обыгрывается сложное отношение «деньги – любовь» [см. Nohejl 1998: 77]. Между игрой и любовью существует напряженная конкуренция: побеждает то одно, то другое, причем постоянно присутствует мысль

о соотношенности этих величин. Так, например, Алексею кажется, что в казино, когда он «стал загребать пачки денег», его «любовь отступила как бы на второй план» [Достоевский Т. 5: 300].

Напряженная ситуация достигает своего пика в диалоге между Алексеем и Полиной после значительного выигрыша героя. Когда он предлагает Полине большую сумму для того, чтобы освободить ее из зависимости от одного французского процентщика, ее охватывает истерика: «Покупай меня! Хочешь? Хочешь? За пятьдесят тысяч франков, как Де-Грие? – вырывалось у нее судорожными рыданиями» [там же: 296]. После продолжительной игры страстного привлечения и отторжения Полина отказывается брать его деньги: «Ну, так вот же твои пятьдесят тысяч франков! – Она размахнулась и пустила их в меня. Пачка больно ударила мне в лицо и разлетелась по полу» [там же: 298]. Тем не менее они вместе проводят ночь, и сцена кончается очень символическим поступком: Алексей сует все свои бумаги и кучу золота в ее постель. Вся сцена развертывает целую гамму противоречивых чувств, которые возникают при соприкосновении денег и любви.

В «Игроке» не раз всплывает многозначная символика «zégo» в рулетке<sup>17</sup>. В нашем контексте важную роль играет знание героя о том, что «zégo» – это «выгода банка» [там же: 263]. В конечном счете игрок, бессмысленно промотав свой выигрыш в Париже, остается без денег: «Что я теперь? Zégo» [там же: 311]. Но после выигрыша он ощущает «какое-то ужасное наслаждение удачи, победы, могущества» [там же: 295] и перед ним мелькает образ Полины. В этом же смысле надо понимать идентичные высказывания героев обоих романов Достоевского «Игрок» и «Подросток»: «Деньги все!» [там же: 299; Т. 13: 265]. Деньги дают «рабу» и «zégo» чувство, что он «человек», но как таковые они ничего не значат, и к ним относятся с презрением.

Игрок понимает, что выигрыш банка как агента накопления капитала предрешен и что ставка на игру «засасывает игрока

---

<sup>17</sup> К роли и оценке Ротшильда у Достоевского см.: F. Ph. Ingold [Ingold 1981: 80–87].

в машину игры, делает его бунтующим винтиком этой машины» [Рыклин 1995: 33]. Очень показательно, что Батай сравнивает игру с потлачем, поскольку как игра, так и потлач противоречат принципу сохранения: «Таким образом, состояние ни в коем случае не служит тому, чтобы *защитить* того, кто им владеет, *от нужды*. Напротив, функционально оно, а вместе с ним и владелец, *остаётся на милости у стремления к безмерной потере*» [Батай 2003: 195]. У Достоевского игра самым радикальным путем обнажает контингентность денег. Даже приобретение денег посредством наследования, которое обычно играет функцию *deus ex machina*, всегда чревато риском. В «Подростке» получение наследства со стороны Версилова усложняется судебным делом, а в «Игроке» надежда генерала на богатство бабушки терпит крушение, потому что она проигрывает свои деньги в рулетку.

Деньги у Достоевского обычно присутствуют в форме «кучи» золота или «пачки» купюр. Как правило, денег у героя или много, или вообще нет. Примечателен язык жестов, связанный с деньгами у Достоевского. Сначала герой, выиграв крупную сумму в рулетку, собирается считать их «дрожащими руками», но потом он обходится с деньгами крайне пренебрежительно, «загребая» их и «комкая» в карманы. Потлач обычно сопровождается определенным жестом – герой «пускает» или «бросает» деньги другому персонажу «в лицо». При мысли о деньгах он не устает повторять, что ему «плевать» на них. Словом, он относится к ним как к чему-то грязному, отвратительному<sup>18</sup>, хотя они ему «очень нужны»<sup>19</sup>.

---

<sup>18</sup> См.: З. Фрейд [Freud 1947: 208], который пишет о символической идентификации золота и экскрементов, в которой отражается противоречие между самым ценным, что человек знает, и отбросами, не имеющими никакой ценности.

<sup>19</sup> А. Гуски [Guski 2012: 7–57; 2016: 103–165] обращает внимание на то, что в реальной жизни Достоевского деньги играли совсем другую функцию, чем в его произведениях. Достоевскому деньги всегда были «очень нужны». Реальное отношение автора к деньгам скорее определяется девизом: «Деньги есть чеканная свобода» [Достоевский Т. 4: 17].

Достоевский продолжает традицию романтической критики денег<sup>20</sup>, которая делает ставку на их несоизмеримость с искусством и вообще духовными ценностями. Он доводит эту точку зрения до крайней последовательности тем, что превращает деньги в медиум своих антикапиталистических аффектов. Герой постоянно старается «переплюнуть» капиталистический принцип. Самым ярким образом эта позиция выражается в логике потлача, т. е. нерационального расходования, которая управляет поступками его героев.

Для Достоевского деньги являются выражением европейской цивилизации, к которой он с позиции славянофильства относился крайне отрицательно. Игрок не раз противопоставляет немецкому идолу «киргизскую палатку» и свою «татарскую породу», и мадам Бланш говорит ему: «Ты ничего, ничего не наживешь! Un vrai russe, un calmouk» [Достоевский Т. 5: 314]. Эти азиатские коннотации содержат намек на отдаленность русского героя от накопительского принципа буржуазной цивилизации и словно намекают на иное, докапиталистическое отношение к деньгам<sup>21</sup>. Для Достоевского панацея от власти презренной маммоны в конечном счете – православная религия. В обоих романах спасение от соблазна денег – в надежде на будущее внутреннее преображение героя. В конце «Игрока» речь идет о возможном воскресении из мертвых [там же: 314, 316], а перед подростком после отказа от ложной идеи Ротшильда якобы открывается путь к истинной идее новой жизни [Достоевский Т. 13: 451].

---

<sup>20</sup> О романтизме Достоевского см.: М. Рыклин [Рыклин 1995: 27, 29, 34]. Т. Гроб [Grob 2004: 348] считает, что в рамках романтической модели азартная игра является самой адекватной «поэтической» возможностью приобретения денег.

<sup>21</sup> О. Шпенглер [Шпенглер 2003: 532] пишет: «Кто вчитывается в Достоевского, предощутит здесь новое человечество, для которого вообще нет еще никаких денег, а лишь блага по отношению к жизни, центр тяжести которой лежит не со стороны экономики».

## **5. Экономический минимализм Льва Толстого – «Холстомер» и «Так что же нам делать?»**

Особую позицию в экономическом вопросе занимает Толстой. В повести «Холстомер» он с помощью остраненной перспективы лошади критикует сам институт собственности. «Слова: моя лошадь, относимые ко мне, живой лошади, казались мне так же странны, как слова: моя земля, мой воздух, моя вода» [Толстой 1928–1950. Т. 26: 19]. Лошадь не понимает, какая связь существует между словом «мой» и определенным предметом, и приходит к выводу, что «люди руководятся в жизни не делами, а словами. Они любят не столько возможность делать или не делать что-нибудь, сколько возможность говорить о разных предметах условленные между ними слова» [там же: 20]. «Низкий животный и людской инстинкт» [там же: 20] собственности осуждается в особенности в том случае, если притяжательное местоимение применяется к живому существу или к объекту, к которому владелец не имеет никакого отношения<sup>22</sup>.

Взгляды Толстого на собственность формировались под влиянием книги Пьер-Жозефа Прудона «*Qu'est-ce que la propriété?*» (1848), с автором которой он лично был знаком. От французского автора Толстой перенимает различие между собственностью, непосредственно связанной с телом человека и с его способностями, с одной стороны, и материальным имуществом, с другой. Только в первом случае человек имеет право говорить «мой». Толстой одобряет основной тезис Прудона, что собственность – это воровство чужой работы и средство господства одного человека над другим. Вслед за Прудоном он утверждает, что вода, воздух и свет солнца являются общими благами.

---

<sup>22</sup> Как показывает Опульская [Опульская 1961: 262], в редакции повести 1885 г. по сравнению с редакцией 1860-х гг. появилась «характерная для позднего Толстого социально-нравственная оценка взаимоотношений собственника и его собственности».

В трактате «Так что же нам делать?» (1886) Толстой излагает свои взгляды на собственность и экономические вопросы. Осуждая обладание деньгами как «что-то гадкое, безнравственное» [Толстой 1928–1950. Т. 25: 247], он видит в деньгах, в отличие от политической экономии, не безобидное средство обмена и меру ценности, а средство насилия, т. е. властвование одних людей над другими. Согласно Толстому, идеальное общество должно быть построено не на деньгах, а на натуральном хозяйстве. Подобной же критике подвергается собственность, которая представляется ему средством использования труда других людей и источником неоправданной роскоши. «Воображаемой собственности» [там же: 399] противопоставляется собственность «истинная»: «Собственным, своим человек всегда называл и будет называть себя, то, что всегда подчинено его воле, то, что составляет орудие его деятельности или средство удовлетворения его потребностей. Таким орудием и средством человек признает прежде всего свое тело, свои руки, ноги, уши, глаза, язык» [там же: 398]. Человек, убедившись в этом, будет считать «труд делом и радостью своей жизни» [там же: 400] и удовлетворяться только тем, что необходимо для жизни. Примечательно, что институт собственности – как и вся остальная условная знаковость общественной культуры, критикуемая автором, – обозначается такими терминами, как *обман*, *фикция*, *суеверие*, *ложь*, *выдумка*, *продукт воображения* и т. д. Это совпадает в «Холстомере» с заключением лошади о том, что люди – в отличие от лошадей – руководствуются словами. Достаточно освободиться от этого «странного» покрыва ложной знаковости, чтобы раскрыть «истинные», «естественные» ценности. В этом и заключается сущность центрального для толстовского приема «снятия покровов».

Экономика у Толстого выполняет – кроме удовлетворения основной потребности человека – в первую очередь антропологическую функцию обеспечения уравновешенного развития человеческих способностей, т. е. целостности человека. Для этого

надо уничтожить то «ложное разделение труда, которое существует в нашем обществе» [там же: 389] и восстановить «естественное», «справедливое» разделение труда. При этом количество производства не играет роли. Известно, что Толстой отрицательно относился к техническому прогрессу. Дело не в том, «чтобы наделать как можно больше ситцев и булавок», а в благе людей, которое мы находим в самой работе. Для человека, «полагающего смысл своей жизни в труде, а не в результатах его <...>, не может быть и вопроса об орудиях труда» [там же: 401].

Но экономические взгляды Толстого сложились не только под влиянием таких западных авторов, как Прудон или Руссо [см. Гюнтер: 2012]. Упор, который Толстой делает на целостном понимании человека и его реализации в жизненной практике, говорит о том, что, кроме западных авторов, на него влияли и представления русских крестьян и сектантов. Сам Толстой упоминает, что в своей оценке роли труда он во многом обязан двум крестьянам: «Люди эти были не русские поэты, ученые, проповедники, – это были два живущие теперь замечательные человека, оба всю свою жизнь работавшие мужицкую работу, – крестьяне Сютаев и Бондарев» [там же: 386]. Идеино близки ему были русские рационалистические секты, в частности молокане, трудолюбивая жизнь которых напоминают западное пуританство. По рассказу одного наблюдателя, у молокан даже дети непрерывно заняты домашними и полевыми работами и лишены тем самым развлечений, игр и досуга, которые считаются праздными [см. Синявский 2001: 398–399]. Но надо иметь в виду существенное отличие сектантской мысли от западного пуританского этоса: молокане удовлетворяются исполнением «ритуалов» трудовой жизни и не стремятся к накоплению капитала или росту производительности. Именно такая установка характерна и для толстовского экономического минимализма.

## Литература

- Батай Ж.* Проклятая доля. М., 2003.
- Белый А.* Мастерство Гоголя. М.–Л., 1934.
- Богданов К.* Деньги в фольклоре. СПб., 1995.
- Булгаков С.* Соч. в 2 томах. Т. 2. М., 1993.
- Вайскопф М.* Сюжет Гоголя. М., 1993.
- Вебер М.* Избранное: протестантская этика и дух капитализма. М., 2006.
- Виноградов И.А.* Неизданный Гоголь. Изд. подготовил И.А. Виноградов. М., 2001.
- Гоголь Н.В.* Полн. собр. соч. М., 1937–1941.
- Гончаров И.А.* Собр. соч. в 8 томах. Т. 2. М., 1952.
- Гончаров И.А.* Обломов. Л., 1987.
- Гончаров С.А.* Творчество Гоголя в религиозно-мистическом контексте. СПб., 1997.
- Гюнтер Х.* Между мамоном и мистикой. Проблематика художника в «Портрете» Гоголя // Гоголь как явление мировой литературы. М., 2003. С. 178–183.
- Гюнтер Х.* Полезные, лишние и ложные вещи. Ж.-Ж. Руссо и концепция вещи у Л.Н. Толстого // Концепт вещи в славянских культурах. Отв. ред. Н.В. Злыднева. М., 2012. С. 157–166.
- Добролюбов Н.А.* Избранное. М., 1975.
- Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч. в 30 томах. Л., 1972–1990.
- Краснощекова Е.А.* Национальная ментальность, прогресс и религия («Фрегат Паллада» И.А. Гончарова) // Русская литература. 1993. № 4. С. 66–79.
- Мережковский Д.* Гоголь и черт. М., 1906.
- Опульская Л.Д.* Творческая история повести «Холстомер» // Литературное наследство. Т. 69. Кн. 1. М., 1961. С. 257–290.
- Пушкин А.* Полн. собр. соч. в 10 томах. Т. 5. М., 1957.
- Рыклин М.* Русская рулетка // Wiener Slawistischer Almanach. 35 (1995). С. 19–39.

*Савченко Н.* Как построен роман Достоевского «Подросток» // Русская литература. 1964. № 4. С. 46–48.

*Синявский А.* Иван-дурак. Очерк русской народной веры. М., 2001.

*Синявский А.* В тени Гоголя. М., 2001.

*Сковорода Г.* Соч. в 2 томах. Т. 1. М., 1973.

*Толстой Л.Н.* Полн. собр. соч. Юбилейное изд. М., 1928–1950.

*Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. М., 1973.

*Храпченко М.В.* Творчество Гоголя. М., 1956.

*Шпенглер О.* Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Т. 2. М., 2003.

*Щукин В.* Миф дворянского гнезда. Краков, 1997.

*Buss A.* Die Wirtschaftsethik des russisch-orthodoxen Christentums. Heidelberg, 1989.

*Drubek-Meyer N.* Dostoevskijs Igrok: von null zu zéro // «Mein Russland» (Wiener Slawistischer Almanach. Sonderband 44). München, 1997. S. 173–210.

*Elias T.* Über den Prozess der Zivilisation. Bd. 2: Wandlungen der Gesellschaft. Entwurf zu einer Theorie der Zivilisation. München, 1969.

*Freud S.* Gesammelte Werke. Bd. 7. London, 1947.

*Grob Th.* Inflationäre Romantik: Kunst und Geld in der russischen Künstlererzählung der 1830er Jahre // Kultur. Sprache. Ökonomie. (Wiener Slawistischer Almanach. Sonderband 54). Wien, 2001. S. 45–65.

*Grob Th.* Inkommensurabilität, Tausch und Verschwendung: Puškin und das Geld // Literatur und Kommerz im Russland des 19. Jahrhunderts. Hrsg. von A. Guski, U. Schmid. Zürich, 2004. S. 329–359.

*Guski A.* «Geld ist geprägte Freiheit». Paradoxien des Geldes bei Dostoevskij // Teil 1. Dostoevsky Studies Bd. 16 (2012). S. 7–57; Teil 2. Dostoevsky Studies Bd. 20 (2016). S. 103–165.

*Ingold F. Ph.* Dostojewski und das Judentum. Frankfurt a. M., 1981.

*Hansen-Löve A. A.* Allgemeine Häretik, russische Sekten und ihre Literarisierung in der Moderne // Orthodoxyen und Häresien in den slavischen Literaturen, hrsg. von R. Fieguth. Wien, 1995. (Wiener Slawistischer Almanach. Sonderband 41). S. 238–239.

*Hörisch J.* Kopf oder Zahl. Die Poesie des Geldes. Frankfurt a. M., 1996.

*Koschmal W.* Oblomov als imaginäre Totalität. (Eine psycho-poetische Beschreibung) // Ivan A. Gončarov. Leben, Werk und Wirkung, hrsg. von P. Thiergen. Köln; Weimar; Wien, 1994. S. 257–259.

*Lachmann R.* Die Zerstörung der schönen Rede: rhetorische Tradition und Konzepte des Poetischen. München, 1994.

*Lambrecht R.* Der Geist der Melancholie. München, 1996.

*Luhmann N.* Geld als Kommunikationsmedium: Über symbolische und diabolische Generalisierungen // N. Luhmann. Die Wirtschaft der Gesellschaft. Frankfurt a. M., 1988. S. 230–271.

*Marx K.; Engels F.* Das Kapital. Berlin, 1975. Werke Bd. 23.

*Meyer K.* Gončarovs «Oblomovka»: eine geschlossene Hauswirtschaft? // Sprache – Text – Geschichte. Festschrift für Klaus-Dieter Seemann. München, 1997. S. 201–209.

*Murašov Ju.* Irdischer Sinnmangel und göttliche Ökonomie. Wirtschaft, Schrift und Ethik in altrussischen Heiligenviten // Literatur und Kommerz im Russland des 19. Jahrhunderts. Hrsg. von A. Guski, U. Schmid. Zürich, 2004. S. 295–326.

*Nohejl R.* «Alles oder nichts». Die Gestalt des Spielers im Werk Dostojewskis // F.M. Dostojewski. Dichter, Denker, Visionär. Tübingen, 1998.

*Normano J. F.* The Spirit of Russian Economics. New York, 1945.

*Proudhon J.-P.* Qu'est-ce que la propriété? Paris, 1848.

*Rosenthal B.G.* The Search for a Russian Orthodox Work Ethic // Between Tsar and People, ed. by E. Clowes, S. Kassow and J. West. Princeton, 1991. P. 57–74.

*Savramis D.* Max Webers Beitrag zum besseren Verständnis der ostkirchlichen 'ausserweltlichen' Askese // Max Weber zum Gedächtnis. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie. Sonderheft 7. Köln; Opladen, 1963. S. 334–358.

*Schluchter W.* Religion und Lebensführung. Frankfurt a. M., 1988. Bd. 2.

*Simmel G.* Philosophie des Geldes. Frankfurt a. M., 1998.

*Sombart W.* Der Bourgeois. Zur Geistesgeschichte des modernen Wirtschaftsmenschen. München; Leipzig, 1920.

*Thiergen P.* Oblomov als Bruchstück-Mensch: Präliminarien zum Problem «Gončarov und Schiller» // *I.A. Gončarov.* Beiträge zu Werk und Wirkung, hrsg. von P. Thiergen. Köln; Wien, 1989. S.163–191.

*Tschizewskij D.* Russische Literaturgeschichte des 19. Jahrhunderts. Bd. 1: Die Romantik. München, 1964.

*Uffelman D.* Oikonomia – икономия / экономия / экономика. Die doppelte Geschichte des Ökonomiebegriffs in Russland zwischen Wirtschaftstheorie und Kirchenrecht und einige literarisch-kulturelle Weiterungen // Russische Begriffsgeschichte der Neuzeit, hrsg. von P. Thiergen. Köln; Weimar; Wien, 2006. S. 477–515.

*Weber M.* Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie. Bd. 2. Tübingen, 1920–1921.

*Zweynert J.* Eine Geschichte des ökonomischen Denkens in Russland. 1805–1905. Marburg, 2002.

## Аннотация

Согласно Максу Веберу, протестантская этика с ее мирским аскетизмом внесла решающий вклад в формирование капиталистической экономики, в то время как у созерцательной православной традиции нет такого стимула к активному овладению миром. Экономический дискурс русской литературы XIX в. отражает широкую дискуссию о направлении будущего пути России, которая, по сравнению с европейским центром развития капитализма, занимала периферийное положение. С одной стороны, авторы осознают, что России нельзя обойтись без заимствования западных экономических концепций, но в то же самое время чувствуется страх потерять собственную культурную идентичность. Гоголь и Гончаров, авторы таких известных произведений, как «Мертвые души» и «Обломов», отличаются склонностью к адаптации капиталистической модели (в нашей статье они рассматриваются под грифом «экономить»), в то время как «тратить» обозначает противоположный полюс антиэкономического мышления Достоевского, который характерен для таких произведений, как «Подросток» и «Игрок». Особое место занимает экономический «минимализм» Толстого, который возник под влиянием крестьянских представлений о натуральном хозяйстве и воззрений таких западных авторов, как Прудон и Руссо.

**Ключевые слова:** протестантская этика, православная традиция, экономика, homo oeconomicus, потlach, деньги, ответственность, накопление капитала.

## Summary

**Hans Günther**

### **Save or Spend? Western and Eastern Economic Discourses in Russian Fiction of the 19th Century**

According to Max Weber, protestant ethics with its active secular asceticism had a decisive impact on the development of capitalist economics whereas the contemplative Orthodox tradition did not favor the idea of active domination of the world. The economic discourse of the Russian nineteenth century literature reflects the widely spread discussion about the future of Russia, which, compared to advanced Western capitalism, was in the position of periphery. On the one hand, authors are aware of the fact that the adoption of certain Western economic concepts is inevitable in Russia, yet on the other hand they fear the loss of cultural identity. Gogol and Goncharov, the authors of such famous works as *The Dead Souls* or *Obломov*, are inclined to approve certain elements of capitalist economy – they will be treated under the catchword «economize» –, whereas the idea of anti-economic «spending» of money is characteristic of Dostoevsky's novels such as *The Gambler* or *The Adolescent*. A special position may be ascribed to Tolstoy's economic «minimalism» which has its roots in peasant ideas of natural economy and Western authors like Proudhon or Rousseau.

**Keywords:** Protestant ethics, Russian Orthodox tradition, economy, homo oeconomicus, potlatch, money, accumulation of capital, property.